

Ключники



Валерия Прокшина

18+

Валерия Прокшина

Ключники

«Автор»

2026

Прокшина В.

Ключники / В. Прокшина — «Автор», 2026

В каждом роду раз в несколько поколений рождается тот, кого не выбирают родители. Его выбирает нечто старше семьи, старше памяти, старше самого имени в свидетельстве о рождении. Он не просит об этом. Не готовится. Часто даже не понимает, что произошло, — просто однажды замечает, что рядом с ним чаще гаснет свет, длиннее становятся ночи, а мертвые почему-то не торопятся уходить насовсем. Их называют по-разному — ведьмами, блаженными, проклятыми. Но у силы, которая стоит за ними, только одно имя. Ключники. Девочка, которая перестала бояться после смерти бабушки — и заплатила за это чужими зубами. Внучка, вернувшаяся домой после похорон и заставшая покойницу за жаркой оладий. Девушка, чья тоска однажды заговорила из темноты — и потребовала себе цену. Каждый из них получил ключ. Никто не просил инструкции. Их просто проверяют — тем, что старше страха, старше веры и намного, намного старше смерти. Читайте, если готовы узнать, что происходит с теми, кто открывает не ту дверь.

© Прокшина В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Ключница	7
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Валерия Прокшина

Ключники

Пролог

Есть семьи, которые не заканчиваются. Их немного, и почти никто не знает их в лицо, но они не исчезают — ни от войн, ни от переездов, ни от того, что фамилия однажды меняется в паспортном столе на другую. В каждой такой семье рано или поздно рождается человек, появление которого нельзя объяснить ни удачей, ни наследственностью. Родители его не выбирают. Случай тоже ни при чем. Выбирает нечто более старое — старше самой семьи, старше памяти о ней, старше имени, которое напишут в свидетельстве о рождении.

Обычно такой ребенок растет как все. Разбивает колени, боится темноты под кроватью, влюбляется в одноклассницу, ревет над мультфильмом. Но именно рядом с ним начинает барахлить техника — телевизор включается сам по себе, лампочки перегорают связками. Именно при нем всплывают старые семейные истории, которые десятилетиями хранили под спудом — не потому, что забыли, а потому, что боялись вспомнить. В доме, где он живёт, сквозняки гуляют злее, тишина стоит гуще, будто её можно резать, а ночи почему-то всегда длиннее, чем должны быть по календарю.

Он носит ключ.

Не металлический, не на связке, не такой, что можно потерять в кармане куртки. Он носит право. Право открывать то, что в роду закрывали намеренно, руками, а не по случайности. Право помнить то, что старшие годами выжигали из памяти — своей и чужой. Право переписать договор, заключённый задолго до его рождения, теми, кого уже нет и кого лучше не называть по имени вслух. Этот ключ не передают словами. Его нельзя вручить, как фамильные часы, нельзя заслужить хорошим поведением или молитвой. С ним рождаются — так же, как рождаются с родинкой на плече или формой глаз, доставшейся от бабки.

Их называют по-разному, в зависимости от века и деревни: ведьмами, колдунами, проклятыми, блаженными, порченными. У системы, что стоит за ними, — одно имя. Ключники.

Инструкций им не дают. Методичек не оставляют, потому что методичка предполагала бы, что кто-то выжил достаточно долго, чтобы её написать. Их проверяют — жизнью, потерями, страхом, который приходит без предупреждения посреди обычного вторника.

Если носитель выдерживает, ключ открывает ему доступ к силе рода: к защите, к знанию, к тем, кто стоит за границей видимого и десятилетиями ждёт, когда к ним обратятся по имени. Ключ дает возможность менять исход — гасить удар до того, как он обрушится, или наносить его самому, если потребуется. Он делает из обычного человека центр, вокруг которого без его ведома выстраивается архитектура, невидимая для соседей, коллег, для собственной матери.

Но ключ не терпит слабости.

Если носитель отворачивается — если пугается настолько, что пытается жить «как все», задернуть шторы и сделать вид, что ничего не было, — система начинает сжиматься вокруг него медленно, но неотвратно. Сначала уходит удача. Потом — здоровье, потом люди, один за другим, будто кто-то методично убирает опоры. И то, что раньше стояло за спиной прикрывая, отступает в темноту. Остаётся только тело — слишком хрупкое, слишком человеческое для той нагрузки, которую на него, не спрашивая согласия, возложили еще до первого крика в родильной палате.

Эта книга — о них.

О тех, кто получил право и уже не может от него отказаться, как нельзя отказаться от собственной тени.

Ключница

Сколько она себя помнила, сколько я ее помнил, она жила в тоске. Будто родилась и сразу нырнула в прохладные объятия уныния. Уныние умеет быть теплым: нам плохо, но одинаково плохо двадцать лет подряд, и значит, все в порядке. Главное — ненароком не порадоваться, а то еще случится что-нибудь.

Нравилась ли ей эта вязкая печаль? Иногда да, но чаще тоска сжимала ее в жалкий комочек, на который лишний раз не взглянешь. Сам я уныние не терплю, а то, что вместе с ним приходит, тем более. Недаром уныние у вас числится среди смертных грехов. Я-то знаю.

Иногда она думала: может, в этом мире для нее и не предусмотрено радости? За чем же она стояла перед рождением, если в итоге ничего не получила?

Ответ у меня, конечно, есть. У тебя действительно ничего нет, потому что свое ты не взяла. Ни красоты, ни особого ума, ни удачи, ни таланта. Ничего нет, а человек все же есть. Так не бывает — я-то знаю. Тебе досталось гораздо больше, чем ум или красота, хотя у женщины красота почти по праву считается золотым ключиком.

Тук-тук-тук.

Кто-то стукнул в окно. Она подскочила на кровати, дернулась, как котенок, повернула голову к стеклу. Показалось. Тебе показалось.

Но тревога поднялась все равно. Маленький шарик под ребрами дрогнул, начал разрастаться, выходить за пределы тела, заполняя комнату тяжелым воздухом. Я его чую — знакомые вибрации щекочут мне ноздри. Страх пахнет мускусом, землей и лежалой травой. Сколько раз я стучался в ее окно, в ее голову, в ее душу — и мне не открывали. Теперь обида накрыла ее. И меня тоже.

Она сидела на полу, вся в слезах, с бутылкой дешевой дряни. Я бы такое и в дар не принял. Вид у нее был жалкий: красное лицо, прыщи на лбу и щеках, распухший нос, хлюпающий при каждом вздохе. Смотреть на это неприятно. Жалости нет, только раздражение. Она ведь знает, что нужно делать, но меня не слушает. Никогда не слушает. Предпочитает пить эту гадость и страдать от собственной придуманной несправедливости.

Обида накрывает ее — и меня вместе с ней. Сидим вдвоем, обиженные, хотя могли бы уже сто раз пить нормальный коньяк в приличном месте. Если бы она слушалась, не сопротивлялась, не рвала себе душу собственными руками. Мне бы отдалась, не ему. Я-то знаю.

Она рыдала уже вторую неделю. Думала, дура, что обрела свое счастье. После долгих лет одиночества она влюбилась с первого взгляда в какого-то проходимца, которого толком не знала и не узнает никогда.

Ей следовало быть осторожнее. К двадцати пяти годам она оставалась слишком наивной и неопытной в отношениях с мужчинами. Никогда раньше она не чувствовала ничего подобного тому, что испытала к нему, что прожила рядом с ним. Были они вместе недолго, однако ей казалось, будто прошли годы безоблачного счастья и безумной любви. Разумеется, она считала расставание несправедливой ошибкой, думала, что он ушел любя, что вспоминает о ней, и скоро, очень скоро они воссоединятся. На их будущей свадьбе она расскажет эту историю, гости будут плакать от умиления, незамужние девушки завидовать смертной завистью, а мужчины делать своим женщинам предложения, тронутые этой красивой драмой со счастливым концом.

По-моему, вся эта история выглядит нелепо. Убиваться по мужичонке, с которым была от силы пару месяцев. Ничего он тебе не обещал, красивых слов не говорил, подарков не дарил, даже цветов не приносил. Совершенная глупость, ты и сама это поймешь. Нам эти страдания мешают, мне эти стенания не нравятся.

Я стучал уже не раз — трижды в окно, ты просыпалась в три часа ночи; и дважды в дверь, тоже после полуночи. Напугал тебя — а иначе как ты увидишь хоть что-то, кроме собственных глупостей. Глаза поднимешь с тропинок своих протоптанных и заметишь то, что и видеть надо. Думаешь, у страха глаза велики и мерещатся тебе тени? Так это не кажется — это ты наконец увидела картинку, пусть неполную, но шире, чем твоя коробка от холодильника. Я-то знаю. Скоро увидишь еще шире. Сегодня же и увидишь.

По набережной бежала, спотыкаясь, молодая девушка. Она была расстроена: на щеках вспыхнули неровные красные пятна, под глазами залегли глубокие тени, а сами глаза были красными, будто она уже неделю плакала не переставая.

Она точно знала, что ей нужно делать и куда торопиться, ее вел внутренний голос. Или то, что она всегда считала внутренним голосом.

От своей тоски она пыталась спастись у психологов, подозревала у себя серьезную депрессию. Одна только сильнее ее расстроила, напомнив, что молодость скоротечна, что жизнь проходит. Другая уверяла, что нужно обратиться к роду до седьмого колена и просить прощения.

Если бы я помнил, как смеяться, расхохотался бы во все горло. Родственнички, конечно, могут подсобить, но виноватость перед ними только хуже сделает — я-то знаю. Еще хуже делают твои психологи, те, которые в душу не веруют. Как можно вылечить душу, отрицая, что она вообще существует?

Ноги несли ее к ближайшей церкви.

Последний раз в православной церкви она была в детстве. Тогда в деревенскую церквушку ее водила верующая бабушка, к которой ее на все лето отправляли на дачу. В той церкви ей не нравилось, сказать честно, она ее пугала.

Дорога к церкви шла мимо большого кладбища. Кладбище было вполне живым и густонаселенным: не заброшенным, оно продолжало дышать холодным дыханием, принимая новых постояльцев в свои крепкие объятия. По воскресеньям туда толпой ходили деревенские жители — навестить своих и прибраться на могилах. А ночью кладбище привечало колдунов, ведьм и колдовок разного пошиба. Деревня была большая и богатая, потому что располагалась недалеко от Москвы. Рядом стояли такие же большие и богатые деревни, так что и церковь жила, и кладбище жило.

Она помнила, как у нее кружилась голова от запаха ладана, как пугали мрачные бабки, которые юрко, словно крысы, бегали и собирали недогоревшие свечки, как на нее давил полумрак и заунывный голос батюшки. Не любила она и дорогу мимо кладбища. Идешь, уже смеркается, а справа кладбище, слева большое зарождающееся болото. Раньше там был пруд, но его затянуло рясой, дно обмелело, и на протяжении всей дороги пахло сырой землей, багульников и осенними листьями даже в самый разгар июля. В болоте что-то булькало, а с кладбища тянуло мертвенной тишиной и холодком.

Как-то воскресным днем, после очередного похода в церковь, бабушка остановилась поболтать с соседкой, и так крепко они сцепились языками, что стоять и ждать было ей совсем невмоготу. Бабушка махнула рукой, чтобы она шла сама, не дожидаясь. Хотя ей уже было одиннадцать полных лет и стоял жаркий июльский полдень, перспектива идти одной мимо кладбища ее не радовала. Однако дожидаться бабушку и слушать скучные разговоры было еще хуже — из двух зол предпочтительнее было добраться домой как можно скорее.

Она ехала по узкой проселочной дорожке, разрезая велосипедом густой жаркий воздух. Солнце начинало сильно припекать голову, но панамка осталась на заднем багажнике — ужасно позорно ехать в этой детской шапке. Солнце все-таки жалило неумолимо, и ее темная макушка раскалилась, казалось, до предела: еще чуть-чуть — и вспыхнет пламенем. Когда она проезжала мимо болота, ее, как назло, затошнило от сладковатых запахов, стало совсем нехо-

рошо под палящим солнцем. Она решила свернуть с дорожки и пройти по кладбищу: в конце концов, что может случиться при таком ясном дне да еще и в воскресенье.

С кладбища приятно тянуло прохладой и свежей травой, нежно шелестели деревья, можно было отдохнуть на лавочке под раскидистыми кронами. Ей было любопытно. Раньше она никогда не бывала на кладбище: в их благополучной семье никто не умирал с тех пор, как она родилась, а больше туда ходить было незачем. Тем более на деревенское, где все могилки чужие и неинтересные. Сейчас же ее словно потянуло туда, будто она даже почувствовала мягкое прикосновение к спине, которое направляло ее свернуть с дорожки влево и пройти через гостеприимное кладбище.

Не доходя нескольких метров до церкви, уже чувствуешь сладкий запах ладана. В церквях этот запах вливается во все: в волосы, в одежду, в бороды батюшек, в платки старушек, в детские игрушки и даже в нищих на паперти. Ты помнишь его с детства. Сладкий, пряный, с едва уловимой ноткой чего-то мертвого.

Сама пришла сюда, своими ногами. Почему же так страшно? Откуда знаешь, что делать, где искать Николая Угодника, в чьи глаза смотреться? Глаза расплываются — и не от твоих слез. Тот, кто там сидит, на тебя улыбается. Ты это чувствуешь.

Напрасно боишься и виноватишься. Твое это, по праву рождения твое. У каждого свое ремесло, и тебе досталось такое — могущественное, сильное. Я-то знаю. Каждому свой крест, своя боль и свои способы с ней совладать. Кто богу молится, кто дьяволу, кто уходит в лес и воет волком, кто детей своих колотит или случайных несчастных, подвернувшихся под руку. Кто в петлю лезет. А ты имеешь законное право на то, что собираешься сделать.

В церкви было немногочисленно. День выдался холодным и противным: под сапогами хлюпало что-то, напоминающее манку с комками из детства, а с неба падало такое же невразумительное нечто. Что делать в такую погоду в середине рабочей недели обыкновенному человеку? Вот и внутри всего четыре прихожанки: женщина лет пятидесяти, красивая и статная, закутанная в длинную шубу до пят; девочка лет двенадцати с мамой; и она — бледная, лихорадочная, натянувшая на голову обычный теплый шарф.

Она подходит к кануннику под Распятием, читает молитвенные слова — про здоровье, про упокой, про прощение обид, — но слова эти в ее устах разворачиваются наизнанку, обретают совсем другой вес, потому что произносит их не просто скорбящая девушка, а та, кому за плечами стоит нечто более старое, чем сама церковь. Она отходит в сторону и замирает, точно каменная, ждет, пока ее свечка догорит, чтобы никто не забрал огарок. Потом разворачивается и уходит, не оборачиваясь.

Она даже не заметила момента, когда мысленное «пусть у него все будет хорошо, пусть он будет счастлив» незаметно свернулось внутри в другое, более честное, более темное: «пусть ему станет так же плохо, как мне». Слова были одни, а желание — совсем другое. То, что тут живет, не разбирает, что у тебя на языке, а что под языком.

За оградой кладбища было значительно прохладнее, и краски яркого летнего дня будто слегка потускнели. А может, это разыгралась фантазия, впервые ощутив дыхание вечности.

Вдоль кладбища тянулась широкая тропа, от которой расходились сотни маленьких ручейков-тропинок. Было видно, к кому живущие ходят часто, а чьи дорожки медленно зарастали — так же, как соседний пруд превратился в болото, уступив свою цветущую жизнь застывшей тине и вязкому гниению.

Кладбище было довольно большим, стояло здесь уже лет сто. Деревни умирали и рождались, рождались новые дети и новые мертвецы, и кладбище жило так же, как жило все вокруг. Казалось, старое кладбище тоже дышит, живет и играет по-своему, только во много

раз медленнее мира за его оградой. Здесь было хорошо. Деревья шелестели мягко, в воздухе стоял терпкий запах лилий и свежей земли, в лицо дул прохладный ветер.

Она заметила, что стали собираться тучи. Не зря утром было так невыносимо душно — зрела гроза. Грозы начинаются удивительно быстро: только увидишь маленькое облачко на чистом высоком небе, как оно уже ведет за собой целую толпу хмурых или вовсе рассерженных собратьев.

Она свернула с главной дороги на тропинку, в том направлении виднелась крыша, что-то вроде беседки, где можно переждать дождь. Несколько крупных капель уже стукнули ее по носу и макушке. Ветер усилился, деревья зашептались громче, блеснула молния, а беседка будто отдалялась тем дальше, чем глубже в кладбище она заходила. Она сильно ушла от главной кладбищенской дороги и уже не понимала, где находится дом.

Ей стало неуютно на внезапно потемневшем кладбище. В спину дул совсем не по-летнему холодный ветер, тучи давили тревогой, а близость смерти редко оставляет кого-то радостным. Никого не оставляет. Она ускорила шаг, но вдруг остановилась как вкопанная, уставившись на могилу, к которой ноги сами ее привели. Афонина Елизавета Павловна. Внутри все похолодело, очередной порыв ветра пробрал до мурашек. Это же ее имя. А дата смерти — ее день рождения, через три дня.

— Девочка, не найдется ли у тебя спичек?

Она вздрогнула, а я стоял уже рядом. Спичек у нее, конечно, не оказалось — откуда им взяться. Неужели прабабка твоя покойная не научила внучку, что в таких местах с незнакомцами, спички просящими, говорить не стоит? Не научила, ведьма старая, а нам потом мучайся с детьми неразумными.

С тех пор я и приглядываю за ней, таскаюсь незримо, только надоело это мне смертно. Не пользуется она своей силой, как ни стараюсь подсказывать — не слышит. Во снах прихожу, в окно стучу, а она непробиваемая, точно глухая. Глупостями занимается: на работу ходит, как будто мало им было крепостничества, силы тратит, не приобретает, по мужикам никчемным убивается. А прабабка с той могилы к ней и не приходит — сама не знает, старуха, кому силушка ее досталась. Нехорошо умерла, сама мучается и детей своих мучить будет.

Зато сегодня, впервые за столько лет, она этой силой воспользовалась. Сама того не поняв, не заметив, вслепую, как слепой котенок тычется мордой в блюдце с молоком. Но воспользовалась же.

Она сидела на холодном мраморе, смотрела, как река уносит вдаль сухую ветку, и ей было так хорошо и радостно, что хотелось обнять весь мир. Словно камень тяжелый с души упал, тучи внутри развеялись, и показалось теплое, мягкое солнце.

Простить и отпустить — простая истина, сто раз слышанная, но никогда не прожитая. Оказалось легко сдуть это чувство: как воздушный шарик, оно улетело в безоблачное небо. Тоски больше не было, печаль покинула ее, ушло отчаяние, исчезло страстное желание видеть его, слышать, чувствовать его прикосновения. Будто туман рассеялся над рекой — и нет ни боли, ни страха.

Она не знала, да и не могла знать, что в тот самый час, минута в минуту, пока она сидела на теплом мраморе и слушала реку, за триста километров от нее, на старой даче с покосившимся сарайчиком, гасли одна за другой лампочки в доме, где никто не жил уже год.

Ей было радостно. Мне было радостно рядом с ней. Легкость покупается недешево, только ей знать об этом пока не нужно. Расплата уже состоялась, просто вышла на другой адрес.

На даче после смерти родителей он бывал нечасто. Родители погибли, когда ему исполнилось тридцать: разбились в аварии, врезавшись в фуру на том самом шоссе, по которому он сейчас ехал. В машине играло радио, голос диктора заглушал мысли о девушке, которую

он оставил в Москве. Проходная, казалось бы, девчонка, сотня таких уже была, но упрямые мысли, не слушаясь его, возвращались к ней снова.

Он никогда не планировал знакомить ее с семьей, но она однажды столкнулась с его мамой, которая зашла в гости без приглашения. Они сразу друг другу не понравились. Девушка считала странным, что мама приезжает к нему три раза в неделю без договоренностей, а ему было совершенно все равно на то, что она думает по этому поводу.

— Лучше бы она вообще никогда не приезжала. Свалила куда-нибудь подальше и не лезла в нашу жизнь! — кричала она в запале очередной ссоры.

Таких криков и разговоров в сторону своей матери он не потерпел бы. С чего она взяла, что существует какая-то «наша жизнь», их общая? На этом отношения были окончены. А через сорок дней родителей не стало. Мама больше не придет никогда.

Венок на месте гибели родителей привычно полоснул тоской по сердцу. Они ушли преждевременно: маме едва исполнилось пятьдесят, отцу было пятьдесят шесть. Так и не пожили на пенсии, не увидели внуков. Оставили ему двухкомнатную квартиру в Москве и старую маленькую дачу с покосившимся деревянным сарайчиком. В мире он остался один, родственников у него не было, от друзей к тридцати годам он отдалился, да и вообще никогда ни с кем не был особенно близок.

Он решил остаться на даче до конца месяца, в офис ездить его не заставляют, можно насладиться природой, пока стоит хорошая погода. Может, даже клубнику посадит, как всегда делала мама. Сейчас она бы открывала дачный сезон.

При виде старой, родной дачи у него похолодело внутри. В маленьком палисаднике под окнами цвели пионы.

Огромные, ярко-розовые, пушистые кусты. Их было так много, что казалось, весь дом покоится в облаках, подсвеченных мягким закатным солнцем. Дача выглядела сказочно-нереальной, как во сне, окутанной туманной дымкой. Из каминной трубы поднимался какой-то перламутровый, светящийся изнутри дымок.

В середине марта пионы цвести не должны. Мало того что это слишком рано, так мама никогда их здесь не сажала. Она их нигде не сажала: эти цветы слишком напоминали ей о рано умершей матери, по которой она скучала. Его бабушка очень любила пионы.

Он даже ущипнул себя и убедился, что не спит. Если он не спит, кто сейчас в его доме?

Он открыл ворота своими ключами и въехал во двор. Въехал — и словно прирос к креслу машины, не зная, что делать дальше. Ни одного рационального объяснения происходящему в голову не приходило.

Добрых полчаса спустя он уже стучал в дверь своей же дачи. Сердце билось где-то в горле.

Дверь открыла щупленькая маленькая старушка в почему-то нарядном белом платье, седые волосы убраны под белоснежный платок. От нее пахло оладьями, мылом и теплом. Знакомый с детства запах.

Бабушка.

Старушка широко улыбалась. Не виделись они двадцать два года. Двадцать два года со дня ее смерти.

— Алешка, давай скорей за стол, пока все горячее, руки мыть не забывай, — голос ее оставался звонким и чистым, ровно таким, каким сохранился в его памяти.

Она суетно бегала от раковины с грязной посудой до плиты, быстро выкладывала пылающие оладьи на большое блюдо и ставила его обратно на круглый обеденный стол. В центре стола стоял букет пионов в хрустальной вазе. Лучи солнца отражались от нее задорными бликами по стенам, как от дискобола на вечеринке.

Бабушку он был видеть рад, однако ярких эмоций от встречи почему-то не испытывал. Голова была словно ватная, мысли замедлились и тянулись, он проваливался в каждую как в болотистую землю, перешагивал от одной к другой, иначе утонул бы.

Наверное, он попал в острое сновидение. Бабушка ни разу не приснилась ему с тех пор, как умерла, и он был рад увидеть ее вновь. Только какой-то червячок под ложечкой шевелился, легкая, едва уловимая тревога.

Он откусил оладью. Вкусно, как в детстве вкусно.

— Куда без чая, подожди всухомятку хватать.

Разговаривать ему не хотелось, хотелось просто греться в лучах бабушкиной заботы, представить, что ему снова восемь, наслаждаться горячими оладьями со сгущенкой и радоваться солнечному беззаботному дню.

— Алешенька, пойдика помоги мне банки с вареньем из подпола достать, — крикнула в окно бабушка, направляясь к сарайчику.

Он, конечно, побежал, как всегда в детстве, помогать бабушке.

Она была не бабушкой. Она была тем, что осталось от бабушкиной формы после того, как чужая, недавно выпущенная в мир сила выбрала самый теплый, самый доверчивый образ, какой нашла в его памяти, — и надела его на себя, как надевают старое пальто. Настоящая бабушка давно лежала в земле, ничего об этом не зная.

Соседи рассказывали, что приехал он затемно, в спешке, ни с кем не поздоровался, бормотал что-то невнятное себе под нос.

— Молодежь сейчас такая, сами знаете, нанюхаются, наедятся дряни всякой и за руль. Мало ему, что отец с матерью разбились на дороге неизвестно в каком состоянии были, так и этот туда же! — верещала неугомонная Лара с четвертой дачи по улице Сосновой.

Его нашли повешенным в том самом стареньком темном сарайчике, в котором даже не был проведен свет. Родители все собирались: протянули провода к верхним балкам под крышей, но так и не успели закончить. На таком проводе его и нашли висющим. Соседка, подруга его матери, заглянула проверить, что да как, может, помощь нужна. Вчера всю ночь с той дачи слышались разговоры и будто кто-то гремел посудой, а света в окнах не было.

Соседи еще долго шептались, что он не самоубийца. Кто-то видел, будто мужик ночью выходил из ворот этой дачи, кто-то слышал женский голос, кто-то — какой-то грохот. Только доказать никто ничего не мог, так и записали его в висельники.

Смертно надоело за тобой таскаться, в уши тебе шептать, от тоски тебя спасать. Я ведь как лучше тебе делаю, потому что у меня такое долженствование, а кроме того, к бабке твоей мертвой уважение имею — в отличие от тебя. На могилке бабкиной один раз появилась и тут же убежала. Могилка вся снытью заросла, одуванчиками да выюнками полевыми, а ты и не вспоминаешь.

Ты даже не поняла, что натворила. Думаешь, полегчало от прощения, от свечки, от лика на стене. Полегчало оттого, что ты, ключница моя неразумная, впервые в жизни попросила у рода не милости, а расправы, и род тебе не отказал. Он никогда тебе не откажет, ты же его кровь.

Рано или поздно сама сообразишь, что не просто так обидчики твои в земле лежат, и не от одной благодати церковной тебе хорошо на душе становится. Сообразишь — сама меня звать станешь, а я вот он, рядом, и не скрываюсь.

А не станешь звать — сам приду. Я никуда и не уходил.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.